

ГОГОЛЬ В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ» ДОСТОЕВСКОГО

Начиная работу над этой темой, я думал, что число упоминаний имени Гоголя и его произведений в «Дневнике писателя» будет уступать лишь числу упоминаний имени Пушкина. Оказалось — нет, Некрасов, Белинский, Тургенев, Лев Толстой, даже Страхов упоминаются чаще. Но выяснилось другое: несмотря на всю искренность и открытость «Дневника», «сюжеты», связанные с Гоголем, чаще других остаются за кадром, в черновиках. И еще: почти все обращения к Гоголю и в основном тексте «Дневника», и в Подготовительных материалах соседствуют с важнейшими для Достоевского формулировками его мировоззренческих и творческих принципов.

Гоголь был, быть может, самой большой проблемой для Достоевского всю жизнь. В одном из первых писем брату Михаилу сразу после успеха «Бедных людей» имя Гоголя упоминается на двух страницах шесть раз (28, I; 117—118)! «Село Степанчиково» — и не только оно — доказывает, насколько большой и важной была эта проблема для Достоевского. Для разрешения ее, в добавление к тому, что уже написано, необходима, может быть, еще одна книга. Здесь попробую сосредоточиться лишь на нескольких узловых пунктах этой проблемы, какие выявляются в «Дневнике...»

Два наиболее крупных фрагмента из записных тетрадей, не вошедших в канонический текст «Дневника писателя», относятся к январьскому и июльско-августовскому выпуску 1977 г. Фрагменты эти очень важные; первый из них представляет собой рассуждения о сатире. «Наши сатирики не имеют положительного идеала в подкладке. Идеал Гоголя странен: в подкладке его христианство, но христианство его не есть христианство» (24; 303—304). И далее: «У нас сатира боится дать положительное. Островский хотел было. Гоголь ужасен» (24; 304). Эти обвинения, чрезвычайно суровые и для Достоевского даже необычные, на первый взгляд совершенно несовместимы с его восторженным отношением (на протяжении всей жизни) к Гоголю-художнику. В окончательный текст «Дневника» вся задуманная статья «Сатира. Чацкий, «Ревизор». Алеко-Щедрин», в набросках к которой и содержались выше-приведенные высказывания, не вошла, но характерно, что именно

та подглавка II главы январского выпуска 1877 г., куда из этой статьи вошла основная мысль — о неопределенности современной сатиры, — представляет собой главным образом рассказ Достоевского о своем литературном дебюте, когда, прочитав его первую повесть, Некрасов и Григорович явились к Белинскому с возгласом «Новый Гоголь явился!» (25; 30).

О резком, «коперниковском перевороте» (М. М. Бахтин) в литературе, который совершил — отчетливо осознавая и напряженно осмысляя это — Достоевский по отношению к Гоголю, говорилось уже не раз. Юрий Тынянов писал о том, что на «вопрос о «прекрасном человеке» — идеальной маске у Гоголя (...) дан (...) ответ Достоевского: прекрасен несовершенный человек»¹. М. М. Бахтин: Достоевский «перенес автора и рассказчика со всею совокупностью их точек зрения (...) в кругозор самого героя, и этим завершенную целостную действительность его он превратил в материал его самосознания»². Совсем недавно появилась статья С. Г. Бочарова «Холод, стыд и свобода» (в 5-м выпуске «Вопросов литературы» за 1995 г.), в которой известный сюжет с прочтением «Станционного смотрителя» и «Шинели» Девушкиным трактуется как аналог общечеловеческой истории: пребывание в раю, где человек видел только Бога и ощущал только Его бесконечную любовь (это мир Пушкина) — грехопадение, ослушание — и как следствие, обнаружение зла в себе, разделение мира на добро и зло, обретение способности видеть себя, видеть себя нагим — и ощутить стыд и холод. Достоевский же предоставляет бедному чиновнику **слово**, позволяющее осознать свою нынешнюю свободу и начать формирование нравственно самостоятельной личности.

Как бы то ни было, ясно одно: мир Гоголя был неприемлем для Достоевского главным образом потому, что это был мир нарушенных, разорванных связей: человека с Богом и человека с человеком — что, в сущности, одно и то же.

В чем видел причины такого разрыва Достоевский? Причины две — обособление и самовозвышение (а отсюда неискренность) как принципы авторского отношения к миру.

Как известно, Гоголя и Лермонтова во Введении к «Ряду статей о русской литературе» Достоевский называл нашими «демонами» — т. е. падшими ангелами (18; 59). И про обоих в подготовительных материалах к «Дневнику писателя» сказано примерно одинаково (причем не раз): не вынесли своего величия. Что же

¹ Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., «Наука», 1977. С. 224.

² М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 3-е. М., «Худ. лит.», 1972. С. 81—82.

позволяет великому человеку достойно вынести свое величие (равно как, добавлю, и «маленькому» человеку достойно вынести свою «малость»)? Только любовь к Богу и любовь к близким. Если нет этой любви, а вера в Бога как в Высшее и Всемогущее Существо есть, возникает мистический страх, переходящий в ужас. Но отношению же к ближним — видение их пороков и несовершенств за-слоняет их божественную суть (которую можно увидеть только любя) — и вызывает «праведный» гнев, еще более способствующий высокомерию и самовозыщению.

Здесь пора вспомнить о другом фрагменте из Подготовительных материалов к «Дневнику писателя», на сей раз к июльско-августовскому выпуску 1977 г., к известному многим рассуждению о «золотом фраке» Гоголя.

«(...) наши великие не выносят величия, золотой фрак. Гоголь вот ходил в золотом фраке. Долго примеривал. С покровителями был, говорят, другой. С «Мертвых душ» он вынул давно сшитый фрак и надел его. (...) Что же, думаете, что он Россию потряс, что ли? С ума сошел. Завещание. Прокопович, Нежинская гимна-зия. (...) Много искреннего в Переяславе. Много высшего было в этой натуре, и плох тот реалист, который подметит лишь уклоне-ния. А уклонения были. Но не видели важных. Маленький Гоголь. Тогда носили сultаны. Поручик Пирогов. Крикликая глотка. Майор под Плевной... Но я увлекся» (25; 240—241). И немного далее: «Про этот золотой фрак мне пришла первая наглядная мысль, вероятно, еще лет тридцать тому назад, во время путеше-ствия в Иерусалим, «Исповеди», «Переписки с друзьями», «Завес-щания» и последней повести Гоголя. Мне **всю жизнь** потом пред-ставлялся(ся) этот не вынесший своего величия человек, что слу-чается и со всеми русскими, но с ним случилось это как-то особен-но с треском. Шли слухи — и вот пошло. Вероятнее всего, что Гоголь сшил себе золотой фрак еще чуть ли не до «Ревизора» (25; 250).

Причем, как явствует из этой записи, Достоевский видел исто-ки этого «обособления» Гоголя еще в его ранней молодости (рас-сказы знакомого Достоевскому Прокоповича, соученика Гоголя по Нежинской гимназии — когда, пожалуй, впервые проявилось трагическое противоречие гоголевского мироощущения: стремление быть полезным отечеству, людям (как единственная возможная цель существования) и презрение к ближним, к непосредственному окружению). Отъединение же от людей порождает чувство одино-чества перед Богом и сознание своего величия, ложную «ответ-ственность» за них, неразумных, а порой и отчаявшие от невозмож-ности «образумить» их. Вот еще одна чрезвычайно жесткая запись Достоевского, почти безусловно относящаяся к Гоголю: «Аристо-

крана поляка, разделившего на песью кровь и барскую. (Мои догадки, что польский характер воздействовал на малоросса (опять отчасти) и малороссу эта спесь, этот задор спесивый показался à la longue* прекрасным» (24; 305).

Гоголь был верующим христианином, это бесспорно. Но к Богу приходят по-разному — в том числе из страха, из высокомерия, из гордости, из любви к «общечеловеку» или «общечеловечеству», даже «из ненависти» (22; 164) — и Достоевский лучше многих других это знал. Соответственно, доминантой религиозного сознания может стать либо страх, либо любовь и доверие — к Богу и к миру, Им созданному. Страх же порождает сосредоточение на собственной греховности и преувеличенное представление о своей ответственности за все происходящее вокруг, постоянную заботу о неукоснительном соблюдении всех догм, обрядов и личного, зачастую надуманного долга — и, как следствие, забвение интересов и насущного бытия ближних (при неустанном стремлении к благу всех людей вообще). Порой такой тип религиозного сознания замыкается на мысли о зависимости судеб всей страны, всего мира от действий собственного «я» (так, парадоксальным образом, приходя от, казалось бы, крайнего смирения к крайней гордыне). Мне думается, в общем именно такой тип религиозного сознания был у Гоголя.

Кроме того, страх побуждает человека персонифицировать собственное зло в виде реально существующих злых сил, искушающих его: чертей, духов зла и т. п., как бы оправдываясь перед Богом и возлагая вину на них. Известно, сколь пристальное внимание уделял этому Гоголь, сколь реальными они были для него (об этом свидетельствуют и его произведения, и многие его высказывания и признания). Достоевский же подчеркивал в статье о спиритизме в «Дневнике писателя»: «Вся беда моя в том, что я и сам никак не могу поверить в чертей, так что даже и жаль...» (22; 33). Достоевский понимал: если человек воистину свободен, то черт — лишь эманация его собственного зла, и наоборот: если есть черти, о человеческой свободе нельзя говорить, ибо тогда, значит, источник человеческого зла — не в нем самом. В этой связи очень интересна как сама глава «Спиритизм. Нечто о чертях. (...)» из январского выпуска «Дневника писателя» 1876 года, откуда взята выше-приведенная цитата, так и подготовительные материалы к ней. Перечисляя участившиеся в последнее время случаи вмешательства чертей в жизнь рядовых обывателей, Достоевский продолжает: «Гоголь пишет в Москву с того света утверждительно, что это

* В конце концов (фр.).

черт. (...) Убеждает не вызывать чертей, не вертеть столов, не связываться: «Не дразните чертей, не якшайтесь, грех дразнить чертей... Если ночью тебя начнет мучить нервическая бессонница, не злись, а молись, это черти; крести рубашку, твори молитву» (22; 32). Здесь есть слова, которые можно трактовать в том же ироническом ключе, в котором написана вся глава; но на меня они производили всегда впечатление неожиданно серьезных в общем ироническом контексте, вот эти слова: «Я читал письмо. Слог его» (22; 32). О важности этого «письма» и выявляющегося за ним мироощущения свидетельствуют записи в подготовительных материалах, где Достоевский, упоминая о «письме», неоднократно подчеркивает: «Есть ли черти? Никогда не мог представить себе сатаны. Иов. Мефистофель. Сведенборг (...)» (24; 96). «Не могу представить сатану. Изображения в поэмах» (24; 97). Здесь интересны попытки Достоевского как бы убедить самого себя, что представить сатану можно, что есть же изображения (Мефистофель), любимая им Книга Иова как будто бы свидетельствует о реальности сатаны — и все же попытки безуспешны. «Реализм в высшем смысле» не вмещал онтологического бытия сатаны — и, думается, не случайно, ибо здесь реально был Бог. Что же касается упомянутого шведского ученого и теософа-мистика Эммануэля Сведенборга, то его книга «О небесах, о мире духов и об аде» имелась в библиотеке Достоевского. В этой книге Сведенборг утверждал, что он побывал на небесах и в аду, беседовал с ангелами и духами (25; 462—463). Размышлениям об истинности происшедшего со Сведенборгом Достоевский уделил немало места в майско-июньском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г., в обширном фрагменте о способности человека к пророчеству (весь этот фрагмент так и не был напечатан, и опубликован пыне в ПСС в разделе «Варианты» — 25; 261—166). Достоевский однозначно приходит к выводу, что Сведенборг не врал — но нет «ни малейшего сомнения» в том, что все это «плод болезненной галлюсинации» (25; 262).

Добавлю лишь здесь, что об этом «письме» Гоголя ничего до селе неизвестно: откуда оно взялось, кто его передал Достоевскому — или оно было где-то напечатано. В ПСС комментарии отсылают лишь к иному событию: спиритическому общению с духом Гоголя одного известного московского редактора, о чем сообщали предельно иронически «Голос» и «Биржевые ведомости». О письме же в этих газетах ни пол слова; мало того, даже такой авторитетный знаток творчества и биографии Гоголя, как В. А. Воропаев, признавался мне, что никогда ничего о подобном «письме» не слышал. А оно, видимо, все же было, и Достоевский его читал: об этом свидетельствуют не только приведенные выше строки из «Дневника», но и упоминание в подготовительных материалах:

«Из письма Гоголя с того света о спиритизме и чертях, ссылка на Послание к Римлянам, глава II, стих 9» (24; 68). Надо искать.

Еще один аспект гоголевской проблемы в «Дневнике писателя» — и во всей жизни Достоевского — определение путей, которыми приходит к человеку вера, и что вообще означает вера. Размышления об этом часто соседствуют рассуждениями о Гоголе, переплетаются с ними в Подготовительных материалах. Можно спорить о том, что было причиной, а что — следствием: воздействие на Гоголя рационалистического духа, царившего в 30—40-е гг. в русском обществе и отсюда — его близость к католицизму, отмечаемая исследователями¹, или наоборот, бесспорно одно: тяга Гоголя к рациональному обоснованию необходимости веры, необходимости для каждого человека уверовать для собственного спасения, — и его убежденность в том, что втолковать это можно — и нужно — всем. Вполне закономерный вывод для веры, основанной на страхе. Достоевский же в Подготовительных материалах к «Дневнику» — и часто рядом с упоминанием имени Гоголя — всячески подчеркивает, что рациональными убеждениями ничего не добиться, надо «пробить сердце» (здесь Достоевский использует выражение из письма некоего Рагозина, часто поминаемого им, о котором в ПСС нет, к сожалению, сведений). А пробить сердце можно только любовью — любовью не о бесплотной идее, а к Живому Богу. Здесь можно вспомнить и известнейшее высказывание из письма 1854 г. к Фонвизиной, обратив больше внимания на его первую (а не заключительную, как обычно) часть: (...Бог посыпает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я **люблю и нахожу, что другими любим**, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа(ти)чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы мне доказал, что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться с Христом, нежели с истиной» (28; I; 176), и почти буквально повторенное это рассуждение незадолго до смерти: «Подставить ланиту, любить больше себя — не потому, что полезно, а потому, что нравится, до жгучего чувства, до страсти. Христос ошибался — доказано! Это жгучее чувство говорит: лучше я останусь с ошибкой, со Христом, чем с вами» (22; 57). Здесь следует вспомнить «Очерки по Истории русской Святости», составленные Иеромона-

¹ См., напр.: Е. И. Анненкова. Католицизм в системе воззрений Н. В. Гоголя. // Гоголь: Материалы и исследования. — М., «Наследие», 1995.

хом Иоанном (Кологривовым), во Введении к которым сказано: главное для русской души — реальность Бога: «перед ней нет ничего, что заслоняло бы реальность Бога»; русская духовность **«утверждает евангелие Слова, ставшего плотью для того, чтобы победить смерть»** («Очерки по Истории Русской Святости». Составил иеромонах Иоанн (Кологривов). Из-во «Жизнь с Богом». Брюссель, 1961 г. С. 10). Здесь возникает интереснейшая тема: о понимании Достоевским реализма вообще (который, как он утверждал, возник у нас гораздо раньше, чем на Западе) и собственного «реализма в высшем смысле». Но это отдельная и большая тема, здесь же скажу лишь о том, что одна из главных основ этого «реализма в высшем смысле» — «найти человека в человеке» (27; 65). Что это значит? Рискну предположить, что это означает выполнение той единственной **новой** заповеди, которую дал людям Христос: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга (...)» (Ин. 13, 34). То есть любить ближнего надо так, как Бог возлюбил человека, каждого человека, видя в нем, за всеми наносными **несовершенствами**, божественный первообраз. А такое видение достигается только любовью. Любил ли Гоголь людей, не человечество в целом, а именно конкретных людей? На этот вопрос я не берусь ответить. (Кстати, рассуждения об этих двух видах любви, их подлинности и возможности их совмещения тоже возникали у Достоевского рядом с упоминанием Гоголя: «Но как вселить любовь к человечеству как к одному лицу» (24; 310); и еще «(...) идея любви к человечеству есть одна из самых непонятнейших идей для человека как идея. Нам явлен был лишь великий идеал в форме чувства» (24; 311); «Одна из самых непонятнейших идей для человека как идея, она явилась раз лишь в форме воплотившегося Бога, в объективном образе — неразъясненная (а породившая) и укрепившая собою лишь чувство» (там же)). Для Гоголя же часто наносное заслоняло глубинную суть человека (о причинах этого я пока не готов говорить). «Зеркало — один из важнейших предметов в мире Гоголя, — пишет в упомянутой статье С. Г. Бочаров. — Но есть разница между зеркалами, в которыеглядятся герои Гоголя, и зеркалом, которое им показывает их автор. У них это зеркало самоутверждения, в которое смотрится их «внешний человек». Гоголь им показывает зеркало покаяния, в котором должен очиститься их «внутренний человек» (...) Но это зеркало автора нам показывает, как известно, кривую рожу. Кривую рожу и наготу «человека под всякого рода мехами и кожами» (цит. соч., с. 143). Не могу не заметить, что поминаемый здесь эпиграф к «Ревизору» --- «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» — я бы назвал «психологической проговоркой» автора (думаю, вполне по-

нимавшего то, о чем мы сейчас говорим), попыткой оправдаться — перед окружающими ли, перед самим собой и Богом? Вспомнилось мне и то, что в Евангелии, по-моему, единственный раз упоминается слово «зеркало», во 2-м Послании Коринфянам, но вот в каком понимании:

«15 Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их;

16 Но когда они обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается.

17 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.

18 Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (гл. 3, ст. 15—18).

Увидеть сквозь свой здешний облик славу Божью — значит, увидеть ее и сквозь облик ближнего («любите ближнего, как самого себя» — сказано). Это — дар, и дар — для писателя, да и для каждого человека, видимо, главный.

На этом можно было бы и закончить, но чем дальше я врабатываюсь в тему «Достоевский и Гоголь», тем больше вижу, что здесь не так все ясно. Скажем, в известном высказывании Достоевского (о связи художественности и внутреннего содержания) из главы «Культурные типики. Повредившиеся люди» апрельского выпуска «Дневника писателя» 1876 г. — «Гоголь в своей «Переписке» slab, хотя и характерен, Гоголь же в тех местах «Мертвых душ», где, переставая быть художником, начинает рассуждать прямо от себя, просто slab и даже не характерен, а между тем его создания, его «Женитьба», его «Мертвые души» — самые глубочайшие произведения, самые богатые внутренним содержанием, именно по выводимым в них художественным типам. Эти изображения, так сказать, почти давят ум глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли, с которыми, чувствуется это, справиться можно далеко не сейчас; мало того, еще справишься ли когда-нибудь?» (22; 106) — обычно обращают внимание на первую часть, а мне, когда я в последний раз перечитывал это, подумалось: что же имел в виду Достоевский под «непосильными» — даже для него — вопросами, что именно вызывало у него такой пессимизм — если все так ясно и просто, как получилось у меня в докладе? И вот еще какая фраза Достоевского не дает мне в последнее время покоя: заканчивая свое, так и не вошедшее в основной текст, отступление о «золотом фраке» Гоголя и объясняя, что к Толстому это рассуждение не относится, что его, Толстого, «обособление» не из гордости, Достоевский пишет, с отдельной строки:

«Меня сбил с толку Гоголь» (25; 247).

И даже если это просто заключительная фраза объяснения, не может быть, чтобы записав ее и взглянув на нее, Достоевский не подумал бы о многом — но фразу, однако, не вычеркнул.

На этом месте, с констатацией того, что в теме «Достоевский и Гоголь» еще очень и очень много неизвестного, непонятого нами, я хочу закончить свой доклад.